

Лиор Хейл
Рассказы

18+

Лиор Хейл

Рассказы

«Автор»

2026

Хейл Л.

Рассказы / Л. Хейл — «Автор», 2026

Сборник рассказов Лиора Хейла — это не просто тексты. Это окна в тишину. В них живут люди, которые не умеют говорить о главном, но чувствуют его кожей. Здесь живут мальчик, согревающий кокон своим дыханием, и женщина, которая возвращается к тому, кто её ударил. Женщина, которая пишет правду под дождём, и девочка, бегущая по полю, потому что поле — это свобода. Мужчина, который чинит не время, а жизнь и ждёт её шагов, и мальчик, чьё имя — Скандинавское Божество, — который не умеет улыбаться, но умеет чувствовать мир каждой клеткой. Здесь нет громких событий. Есть — дыхание. Здесь нет героев. Есть — люди, которые пытаются остаться собой, даже когда мир говорит им, что они не имеют на это права. Это рассказы о тишине. О той тишине, которая говорит громче слов. О боли, которая не становится слабее, но становится частью тебя. И о любви — той, что не кричит, но остаётся. Даже когда ничего не остаётся. Для тех, кто не боится слушать.

© Хейл Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Рассказы

Глава

Лиор Хейл

Рассказы

"Тучи на горизонте"

Она сидела на крыльце, укутавшись в теплый серый свитер — его, будто облаченная в его запах кожи, его дыхание, его тепло. От этого было еще больнее. Будто запахи и тепло исходили из далекого прошлого, в которое не было больше пути назад.

Резкие порывы ветра ворошили ее светлые пряди. Болонка, сидящая у нее в ногах тихо поскуливала, испуганно поглядывая куда-то вдаль, за горизонт, откуда порывистые рывки ветра гнали ключья черных, рваных туч, постепенно заволакивающих все небо. Желтоватая шерсть болонки волновалась барашками, будто рябь, покрывающая взволнованное, пепельное море. Собака перевела свой тревожный взгляд на хозяйку. Та улыбнулась — печально, будто самой хотелось завывать от болезненности в душе, на сердце, в мыслях.

"Ну, глупышка, не бойся, — это всего лишь тучи..." — сказала она, склонившись над чистым, белоснежным листом бумаги с карандашом в руке, — "всего лишь тучи", — повторила шепотом она, будто уговаривая себя решиться на какой-то важный шаг.

Болонка, будто понимая хозяйку, забилась под витый диванчик, усыпанный россыпью мелких цветных думок, будто полевых цветов.

"Однажды, ты любил меня иначе..." — начала она писать и, встревоженно, подняла голову к горизонту, где мелкие, но густые молнии рассекали небо на геометрические фигуры.

Каждая молния сопровождалась далекими, глухими раскатами грома, несущими на своих гигантских плечах слезы и холод. Она не уходила, прислушиваясь к стомам дощатого пола, к тихому скрипу старенького крыльца, пережившего не одну бурю, к бешеному биению собственного сердца, будто молоточками отдающегося в висках. Холод помогал ей не расплакаться, не уйти в бесконечные миражи мечт о нем: теперь бесконечно далеко, почти прозрачном.

Тихий росчерк карандаша.

Строка перечекнута.

"Любил ли ты меня когда-нибудь?..." — застыл вновь карандаш в руке. "А что если 'нет'? Ответит... знаю... а так еще больнее... больнее ожидание на вопрос, который не нуждается в ответе, потому что очевиден".

Раскат грома отразился в недрах ее оледенелой груди, она вздохнула судорожно: с болью, с сипом, с раной. Болонка неуверенно, жалобно подхватила ее стон и взглянула в глаза хозяйки,

будто спрашивая: *"опять плачешь? если даже не он, но я ведь — рядом"*. Она, будто понимая, ласково коснулась ладонью теплой мордочки. Шершавый язык лизнул ее заиндевелые пальцы.

Тучи медленно спускались из-за холмов, стелились по полю, приближались к ветхому домику. Музыка ветра раскачивалась от дерзких набегов вихря, будто предвестник бури — внутренней, ее. Ветер стал жестче, хлестче. Он тревожно перебирал звон колокольчиков, будто выбирая музыку, под которую будет плясать под дождем. Первые крупные, круглые капли начали тяжело падать на дощатый пол. Болонка забила под диванчик, спрятав бархатный, влажный нос в хвост.

Она закрыла руками лицо. Не то слезы, не то капли дождя медленно потекли по ее щекам. Шквал разрушительного ветра ударил в лицо, будто пощечиной. Отрезвил. Обдал сивером. Насильно, почти жестоко, заставил очнуться после долгой, счастливой полудремы.

"Не любит... не любил" — пробежала самая больная, самая страшная мысль в ее голове, которая всегда вертелась на языке, но она боялась даже думать о ней, не то что произнести вслух.

Но теперь... Нечего было терять. Не за что цепляться. Все: мираж, забвение, обман! А если так — пусть уж больно от правды, чем больно и горько от приторного самообмана.

Росчерк карандаша.

Третья фраза. Та самая! Единственная! Правдивая!

"Ты не любил меня... никогда..."

Небо разразилось криком ее души — громом, от которого, казалось, вздрогнула вся земля и задрожал каждый угол, каждая оконная рама дома. Не дом — ее обитель сердца. Молния перечекнула все мечты, ожидания, надежды, будто поставила подпись под последней фразой на бумаге своей костлявой неоновой рукой. Дождь стеной прикрыл ее слезы.

“Кокон”

«Она живая?» — шепнул встревоженно мальчик, сняв варежку и коснувшись кончиком пальца крошечного кокона, спрятавшегося под корой и прелыми листьями, припорошенными мягкой, липкой крошкой снега.

Кокон лежал недвижно, словно выточенный из красного дерева и отмеченный редкими, почти ювелирными мазками белёсых кружков. Он укутался с головой в собственные крылья, как в пёстрые зимние пледы, спасаясь от стужи и метелей. Но под этой неподвижностью ещё теплилась жизнь — тихая, хрупкая искорка.

Мужчина ласково провёл ладонью по щеке сына, который переводил взгляд с кокона, согретого его маленькой ладонью, на отца. В зелёных глазах мальчика застыл вопрос, тревожащий детскую душу, — и он снова посмотрел на крошечный комочек жизни.

«Это павлиний глаз, Тобиас», — мягко произнёс мужчина.

Мальчик наклонился ближе. Выдохнул. Его дыхание белым облачком опустилось на кокон, словно благословение.

«Только не погибай...» — прошептал он, будто молясь перед маленькой святыней. Он прижал кокон к груди, завернул в свой шарф, словно в собственное тепло.

Отец улыбнулся, поцеловал пахнущую ромашкой макушку — запах весны, дерзко пробивающийся сквозь власть зимы.

«Она не погибла, милый. Она уснула... впала в анабиоз. Но с первой каплей — проснётся, расправит крылья и полетит в новую жизнь».

Голос отца был плавным, тихим, умиротворяющим. Сын благодарно взглянул ему в глаза — так, будто обнял душу одним только взглядом. На губах его появилась тёплая, торжественная улыбка.

«В новую жизнь...» — произнёс Тобиас одними губами, и на их краешках застыла не отцовская фраза, а детская мечта.

Он ещё раз осторожно прижал кокон к груди, расчистил прелые листья у старого пня под трухлявым корневищем и, положив в образовавшуюся ложбинку свою варежку — будто память, будто обет, — аккуратно опустил туда насекомое, прикрыв его лёгкими кусочками коры.

«Спи, моя бабочка... А с первой каплей прилетишь навестить меня».

—

Зазвенела, заискрилась на бледном, обманчивом солнце капель. Лесные дорожки заструились ручьями, наполнились запахом тёплой земли — все тропы, все бугорки, все овражки. Несмелым ковром — то тут, то там, будто проплешины в вихрах зимы — повскакивали первые солдатики-подснежники: нежно-сиреневые, кремово-розовые, девственно-белые.

Воздух по утрам ещё был морозным, тяжёлым, почти видимым. Он расставлял паутины туманов меж елями, над полянами, под старым пнём — будто охотился на первые, слабые попытки жизни воскресить своих детей после долгого сна. Но стоило солнцу рассеять туман, стоило заре подняться над лесом — мороз отступал на полшага. Мирился. Подставлял щёки свету. Не улыбался, но уступал — чтобы к закату вернуться вновь, когда ночь брала его за руку, как непослушное дитя, и вела домой, в его обитель — в лес.

Зима ещё боролась, метала по ночам ворохи снега в румяные щеки весны, выла в дымоходах от злобы, была морозами по всему зарождающемуся. Весна хохотала — дерзко, молодо, наивно, но уверенно. Она знала: под старым пнём уже пробудилась одна жизнь.

—

Эта жизнь просыпалась медленно.

Ей снились разноцветные сны — странные, добрые, тёплые, будто кто-то был рядом, спас от морозов, даже поцеловал.

Из-под крыльев сначала показался длинный, хрупкий хоботок — словно существо хотело сделать первый глоток воздуха, прежде чем выбраться из цветастых покрывал. Потом появилась чёрная головка с большими глазами. Глаза — не глаза — калейдоскопы: тысячи мельчай-

ших зеркал, мозаичных линз, полихромных кристаллов, в которых отражалась вся вселенная лесного естества. Они деловито оглядели кору пня, подснежники, тянущиеся к зениту, где распластался круг огненного солнца, и... варежку — тёплую, ворсистую, что спасала их всю зиму.

«Кто же это был? Кто спас меня в стужу?» — подумалось комочку.

Хоботок потянулся к ласковым, ещё прохладным лучам. На свет вышла мохнатая чёрная грудка, будто облачённая в меховое манто. Лапки расправились, уверенно встали на тёплый ворс варежки.

«Помню... Тобиас. Так звали моего спасителя».

Тельце вздрогнуло, крылья дрогнули и начали расправляться.

Ещё минуту назад сжатые, как помятая блестящая фольга от подарка, они выпрямились — стали яркими, гладкими, глянцевыми. Багровые, массивные, с блестящей пылью, невесомые — они дрожали от каждого хрустального порыва весеннего ветра.

И бабочке не было холодно.

Напротив — приятно. Даже весело.

«В новую жизнь...» — будто вспомнилось ей сказанное кем-то однажды.

И от этой мысли стало тепло. Тепло разлилось по всему существу. Крылья — огромные, искрящиеся, расписные, крапчатые в кругляшок — расправились полностью. Перед миром предстала бабочка-зимовка: живая, дышащая, молодая, уже любящая этот мир — и его. Её спасителя. Тобиаса.

«А что теперь? Куда мне?» — подумалось бабочке.

Она сделала первые шаги по влажной коре, забралась по стенкам трухлявого пня на спил. Замерла, вдыхая полной грудью жизнь. Хоботок вытянулся, жадно ловя весенний воздух. Мех на грудке мерцал многокрасочным бисером — дрожал каждой ворсинкой от дуновений ветра.

«Спи, моя бабочка! А с первой каплей прилетишь навестить меня!» — вдруг вспомнилось ей.

Странное, кипучее ликование переполнило её тельце. Лапки подёрнулись. Крылья налились силой, молодостью, блеснули огнём, переливаясь в преломлённых лучах. Бабочка взмахнула ими — ещё, ещё... Лапки оторвались от спила, ощутили под собой воздух, который крылья разрезали широкими, уверенными пластами.

«Ввысь... ещё... в новую жизнь... к нему — моему спасителю!»

“Лошадь и Жеребёнок”

Ранним утром, когда над полями еще стелился бледный, сумеречный туман, будто белое одеяло, наспех накинутое поверх дремлющей земли.

Когда заря лениво окидывала спящие луга, на которых каракулевыми казачьими шапками стояли взбитые в стога ворохи свежескошенной травы. Когда по деревне пронесся хриплый оклик петуха-ворчуна, пожилого, потерявшего почти все перья на хвосте в былых боях, с перекошенным клювом и длинными розоватыми лапами, будто облаченными в алые сапоги с высокими сморщенными генеральскими голенищами.

Когда где-то далеко, в стеклянном тумане, корова, белая в черных пятнах, неохотно промычала в такт громоздкому железному колокольцу на ее шее, ведомая пастухом к пастбищу, что ступала лениво, размеренно, задевая ногами свое пустое вымя.

Когда утренняя, кристальная роса жемчужинами свисала с узких ободков листьев и светилась в первых лучах солнца в сердцевинах раскрывающихся колокольчиков, васильков, пижмы и барвинок.

Когда сонные черные мухи ворвались в прохладный воздух со своим назойливым, наглым жужжанием, а с ними, будто главнокомандующий, пролетел жук-рогач, рассекая туман своими массивными крыльями.

Тогда, в этом чудном утре, в этом просыпающемся естестве природы, на свет появлялась жизнь.

Медленно.

Тревожно.

Радостно.

Конюх еще вчера заметил набухшие соски молодой первожеребой кобылки. Понял. Его сердце наполнилось теплотой и приятным, почти торжественным ожиданием рождения нового чуда.

Кобылка била копытом в стойле. Вздыхала взволнованно. Ее широкие, бархатные ноздри вздымались, расширялись, выталкивали теплый воздух, что выходил паром и подымался к дощатой крыше. Напротив, другая лошадь, рябая, старая кляча, тревожно и удивленно вытягивала шею, пытаясь хоть одним глазком заглянуть в соседнее стойло, посочувствовать, согреть, быть рядом. Кляча в такт молодой ударила копытом и шумно вздохнула, будто обращая на себя внимание соседки:

«я — тут. Я знаю, каково это. Не бойся, лапушка. Разродисься и ты».

Кобылка, с шелковой шерстью теплого миндального оттенка, с мелкой белой крапункой на переносице, длинноногая, бойкая, беспокойно взглянула на клячу. В ее темных влажных глазах с длинными ресницами промелькнуло понимание и боль одновременно. Боль физическая. Сердце ее билось беспокойно. Круп животного, у боков, подергивался, будто от мелких и частых разрядов тока. Лошадь прошла кругом стойла, задевая мордой грубо выструганные доски загона, ткнулась ноздрями в проем между дверью и стеной. Вдохнула. Фыркнула. Склонилась над скирдой — не притронулась. Ударила копытом о поильник. Вода расплескалась. Не стала пить — отвернулась встревоженно. Навострила уши, будто прислушиваясь не к шуму извне, а внутрь себя. Обошла еще раз стойло. Брыкнула. Издала тихий, мягкий звук, не расцепляя зубов, будто мыкнула, и опустилась на пол, укладываясь на бок и выпячивая большой, круглый живот.

Жизнь толкалась, пиналась. От каждого толчка весь круп животного вздрагивал. Черные глаза животного увлажнялись, блестели еще ярче; ноздри раздувались и выталкивали теплые густки пара все чаще. Кобылка вновь гугукнула. Пожилая кляча ответила. Прислонилась

головой к стене, прислушалась. Ее дыхание будто замерло, будто она сама готовилась к родам, молилась за молоденькую кобылку, как мать за свою дочь.

Конюх пришел с керосиновой лампой. Чиркнул спичкой в глухой тишине. Зажег. Поставил на пол поодаль от стойла. Тихонько, чтобы не спугнуть роженицу, приоткрыл дверь. Лошадь не повернулась. Лишь острые, длинные уши животного уловили кроткий скрип калитки. Мужчина, в жестких перчатках, льняной жилетке и резиновых высоких сапогах, опустился перед лошадью на колени. Ласково потрогал ее круп: живот, бока. Снял перчатки, чтобы животное ощутило теплоту его рук. Нежно заглянул в глаза, погладил по холке, провел ладонью по морде. Проверил — не горячи ли копыта? Не болеет ли лошадь? Приобнял аккуратно, слегка. Та посмотрела на хозяина усталыми, вымотанными глазами, в которых застыла тревога и бесконечная преданность, доверие и любовь к человеку.

«Лапонька моя. Скоро разродишься, милая. К обеду придет доктор. Я буду рядом, Рябинушка моя. Моя резвая, моя гибкая! Красавица моя!»

Мужчина поглаживал длинную, теплую, мягкую шею животного и шептал на ухо ласково, покойно. Рябина, будто понимая каждое слово, схватывая его, пропуская через свое огромное сердце, вздыхала ровно — успокаивалась, верила.

А потом вновь вытянулась вся, будто в конвульсии, задрала хвост, повернув его слегка набок. Бока потеплели и покрылись крупными каплями пота. Живот отяжелел, разбух. Она нервно мотнула головой к хвосту, будто ощутила прилив боли, толчок изнутри. На концах сосков застыли крохотные сияющие капельки молозива.

Вот оно.
Началось.

Старая кляча тоже почувствовала. Забеспокоилась. Заржала. Поняла.

Сначала появились голова и передние копытца. Затем длинное, вытянутое тельце позвоночником к позвоночнику матери. Новая жизнь рождалась медленно, в боли и радости. Затем задние конечности выскользнули из лона матери вместе с последом.

Конюх улыбнулся — широко, счастливо. В уголках его глаз, в ложбинках морщин, появились слезы радости.

«Лапушка моя! Умница моя! Какого скакунка славного народила!»

Жеребчик лежал на боку, конюх помог выпрастывать детеныша от последа, а после побежал за врачом.

Тот дышал порывисто, всей грудью и брюшком, не открывая рта. Влажный, темно-коричневый, с взъерошенной мокрой шерстью, чубатый. Мать заботливо гугукнула — позвала. Склонилась над своим дитя. Лизнула, мол:

«поднимайся, стригунок мой! Вставай на ножки, сынок».

И жеребенок, словно отзываясь, послушно начал пробовать подняться.

Первая попытка — поскользнулся, задние копыта разъехались в разные стороны. Он не удержался и повалился на бок.

Вторая — поднялся передом, зад присел. Смешной хвостик — короткая метелка дрогнул. Мать ласково подставила морду под его брюшко.

«Давай, сынок, ну же!»

Третья — на дрожащих копытах, полусогнутых ногах, трясась всем телом от напряжения, от старания, от желания прикоснуться к теплому боку матери, вкусить ее молока, быть рядышком.

Еще один рывок, последний — и стригунок стоит: неуверенно, неловко, неуклюже, но стоит. Теперь самое сложное — первый шажок. К матери. Его черные глаза с длинными кисточками — ресницами глядят на мир испуганно и радостно одновременно. Ликование от бытия невидимой нитью связывает его с матерью, передается ей, течет по всему ее телу. Молоко сочится из отверстий сосков. Жеребчик вдыхает материнский воздух, широко раздвигая ноздри. Мать облизывает его. Тихо гугукет — общается, будто колыбельную поет.

Она счастлива.

Старая кляча бьет копытом о землю, взбивая клочья сена под собой, поднимая пыль. Радует, как за само себя. Жеребенок делает неуверенный шаг, потом еще и еще и... касается сначала кончиком носа, затем ворсистыми, влажными губами материнского вымени. Оно теплое. Пахнет молоком и родным: мамой. Малыш вытягивает шею, тянется губами к набухшему соску и впервые пробует жизнь, материнскую ласку, любовь, добро и заботу на вкус. Причмокивает. Пьет.

Глаза Рябины глубоки, черны, будто мгла, влажны. Они сияют при приглушенном свете керосиновой лампы. В ее глазах все, что бывает в глазах матери, впервые увидевшей своего ребенка.

“Кукла”

Ночь.

Парк.

Фонари горят жёлтым, но свет не достаёт до земли — он падает на ветки, на стволы, на скамейки, покрытые инеем. Аллея тянется в темноту, как чёрная река.

Они идут. Она — чуть позади. Он — не оглядывается.

Она сказала. Ошибка. Слово, которое не стоило произносить.

«Отвези меня к гинекологу».

Тихо, робко, боясь.

Он останавливается. Резко. Она чуть не врезается в его спину. Он хватает её за запястье — пальцы ледяные, жёсткие, сжимают кости. Она не дёргается. Она знает.

— Я тебе, сука, не таксист. Не гинеколог. Я сейчас покажу, напому, кто я.

Она плачет. Тихо. Слёзы текут по щекам, замерзают на ветру. Она не вытирает. Кивает.

— Прости...

Он тянет её в кусты. Ветки хлещут по лицу, цепляются за волосы. Она не сопротивляется. Спускается следом в темноту. Земля сырая, пахнет прелыми листьями, холодом, смертью.

Первый удар — в лицо. Короткий, резкий, без замаха. Голова откидывается назад, шея хрустит. Она не падает — держится на ногах. Ещё удар. В плечо. Она оседает, хватается ртом воздух. Стонет — тихо, надрывно.

Он бьёт ногой — в живот, в рёбра. Она падает, ударяется коленями о землю, потом грудью. Ладонями прикрывает лицо. Плачет.

Он садится на неё сверху. Кулаки приходятся по ключицам — сухой, ломающий звук. По животу — она выгибается, хрипит. По ногам — бёдра немеют, становятся чужими. По рёбрам — треск? Она не знает. Она только стонет, шепчет:

— Прости меня... прости...

Боль жжёт. Всё тело — как раскалённая сковорода. Каждый удар — новый ожог. Но сердце болит сильнее. Оно не перестаёт любить. Оно не просит пощады. Оно принимает. Знает — однажды он потушит ее свечу жизни. Но ей всё равно. Главное — чтобы его злость улеглась. Чтобы он затих.

Она сжимает пальцами землю. Влажную, чёрную, липкую. Слезы смешиваются с пылью — на щеках остаются разводы, как трещины на старой картине. Она не чувствует лица. Только боль и землю.

Ещё удар. В грудь. Из носа течёт кровь — тёплая, густая, падает на губы. Она слизывает её. Вкус железа, соли, отчаяния.

Он кричит:

— Ненавижу!

И замирает. Слишком громко. В парке тихо — только ветер в ветках. Могут услышать редкие прохожие. Он испуган? Она не знает. Она всхлипывает.

— Заткнись!

Удар в грудь — снова. Зубы в крови. Она сплёвывает — на землю, рядом с лицом. Он поднимается. Отряхивает брюки. Поправляет куртку.

— Вставай.

Она поднимается. Медленно. Тело не слушается — каждое движение — новая боль. Рука тянется к стволу дерева — кора холодная, шершавая, как наждак. Она опирается, выпрямляется. Не смотрит на него. Идёт к общественному туалету — освещённому тусклой лампочкой, с облупившейся краской, с трещиной на зеркале.

Промывает нос. Вода холодная, ледяная, смешивается с кровью — розовые ручейки текут в раковину. Промывает губы — разбитые, опухшие. Споласкивает лицо. Смотрит в зеркало.

Она — чужая. Разбитая. С красными глазами, с мокрыми щеками, с отпечатками пальцев на запястьях.

— Я тоже ненавижу... тебя... — говорит она своему отражению.

Не ему.
Себе.

Потому что он не слышит. Потому что он уже далеко. Потому что она остаётся. С этой ненавистью. С этой любовью. С этой болью, которая не проходит.

Вытирает лицо рукавом. Выходит. Он стоит у фонаря, курит. Не смотрит на неё.

— Пошли. — говорит. Не спрашивает. Не оборачивается.

Она идёт за ним. Механически. Безжизненно. Как тень. Как раздавленная ёлочная игрушка. Как кукла. Как та, кто уже умерла — но забыла лечь.

Ночь.
Парк.
Фонари горят жёлтым. Им не светят.

“Дачная Миниатюра”

Воспоминания — это то, что мы носим с собой всю жизнь, спрятанное в тихом кармане души. В них — наша правда: смешное возвращается лёгкой улыбкой, грустное — тяжёлым вздохом, жестокое стирается, как ненужные обрывки, а доброе, родное — остаётся. И именно то, что остаётся, и становится историей нашей жизни.

Помню: мне пять, мы едем в электричке. Окна распахнуты, опущены. Я высовываю язык, пытаюсь поймать, укусить тёплый ветер. Мама мягко отодвигает меня от окна: сквозняк, да и другим пассажирам тоже хочется поглядеть наружу; води себя прилично, не показывай всему народу язык.

Я не сижу на мягких сиденьях, обитых вишнёвым, потёртым дермантином. Энергия выплескивается через край — невозможно усидеть на месте, будто на муравейнике, что кусает за мягкое место, щекошет ляжки усиками и лапками, тревожит мысли. Я стою между маминых ног, рядом с громоздкими мешками и вёдрами, набитыми дачным инвентарём, одеждой, продуктами и утварью — словно мы переезжаем в другой мир не на день, а навсегда: в сердце природы, деревенского морока, дачных пейзажей. Электричка мчится размеренно.

«Ту-тух, ту-тух» — бойко отзываются под колёсами рельсы. Пассажиры улыбаются, спорят, жуют, дремлют под удары колёс. Они уже приготовились к рабочему дню в огородах: высокие резиновые сапоги, перевязанные платками головы, широкие спортивные штаны,

жилетки — всё, что не жалко испортить, изорвать, перепачкать, лишь бы помочь саду расцвести, избавить грядки от душащих сорняков, высвободить корнеплоды от безжалостных паразитов.

Я говорю громко, хвастаюсь, задираюсь — выражаю перед мальчиком чуть постарше, сидящим напротив. Мама заметила. Улыбается. Ей немного неловко. За окнами проносятся степи, поля, окропленные одуванчиком и ромашкой, электрические столбы, перекошенные бетонные остановки с покосившимися козырьками, заросшие сорной травой платформы с трескавшимся асфальтом.

Помню жалобный скрежет горячего металла массивных колёс. Открытые двери. Мы сходим. Опускаемся по узкой тропе гуськом — с ведрами, мешками, пакетами — будто исчезаем в низине меж тополей. В ложбинке, по обе стороны тропы, тянутся дачные участки, огороженные деревянной, неровной каймой — сероватым частоколом.

Мы идём. Я — лечу.

Сегодня будет много свободы, много ничего-не-делания, соития с природой и побега в другие измерения. Дача для ребёнка — это плавное погружение в потаённые глубины детства.

Помню наш забор, калитку с проржавевшей щеколдой и остановку «Жана аул». Я — в больших солнечных очках в коричневой, грубой оправе. Ношу их с удовольствием, не снимая даже в пасмурную погоду. Мама сказала, что мне идёт. Я в них похожа на стрекозу. Переодеваюсь быстро, словно солдатик — времени нет на возню, меня ждёт природа, другие миры.

Я бегу.

В голове моей проносятся воспоминания — будто яркий сноп искр, отлетающий при ударах молота по наковальне.

Помню у бревенчатой стены нашего деревенского домика куст крупной малины. Над маленькими белоснежными цветами-звёздочками постоянно роится чернявая мошкара и огромные, мохнатые, трёхцветные шмели. Лапки их в пыльце, что крохотными капельками сияет под палящим летним солнцем.

Помню эти ягоды: огромные, упругие. Возьмёшь такую — тает. Оторвёшь её с куста губами, положишь на язык и удержишь, перекатываешь во рту, смакуешь, будто готовясь испить эту сладкую сердцевину, что зрела только для тебя.

Помню дом наш — деревянный, ветхий. Помню обрывками. И от этих воспоминаний становится тяжело дышать. Даже сердцу больно.

Будто слышу, как скрипят половицы под ногами. На окнах — грубо выструганные деревянные рамы, окрашенные светло-голубой краской, давно облупившейся; на них — незатейливые занавески, прикрученные к тонким проволокам.

Заходишь — кухня: светлая, уютная, словно прогретая теплотой родных рук, что кудесничают у плиты для нас — меня, сестры, отца и деда, которые работают на огородах: вспахивают, убирают траву, высаживают, копают, поливают, перетаскивают шланги от одной гряды к другой.

Проходишь — комната, просторная. На стене висит зеркало в потемневших от времени пятнах у уголков, с маленьким сколом. Оно, будто наклонившись немного к хозяевам, прислушивается к их думам, к усталым вздохам, к моим детским грёзам.

У стен — кровати, пружинистые койки. На них — взбитые ватные матрасы, громоздкие перьевые подушки, в которых можно плюхнуться и утонуть с головой, цветастые одеяла, сшитые будто наспех, вручную, жёсткими нитками. Они пахнут домом, пылью, скошенной травой — моим детством, когда всё ново, когда весело на сердце от мамы, что собирает тёмно-зелёные, хрустящие, душистые листья щавеля для супа и бойко переговаривается, почти спорит с папой где-то неподалёку, в огороде, пока он кропотливо обходит каждый куст картофеля в надежде поймать очередного бандита — колорадского жука, что прячется в междоузлиях.

От тихого пения бабушки, что жарит беляши на кухне в чугунной сковороде, где шкварчит и дымится подсолнечное масло. Её тёплые, немного дрожащие руки — кожа мягкая, тонкая, сквозь неё просвечивают мелкие синеватые вены; ладони будто вылеплены из теста: мягкие, уютные, испещрённые паутинками судьбы. Они лепят, жарят, пекут, обнимают, гладят по голове, по плечам, по щекам, терпеливо учат меня таблице умножения.

Мне радостно от звонкого голоса сестры — хрупкой, зеленоглазой, что собирает в пластмассовый бочонок, умело вырезанный из бутылки, спелую черноокуую смородину.

Помню дорожки, проложенные отцом по всей даче — вдоль огорода, меж грядок. Выцветшие на солнце, посеревшие, рассыпающиеся доски шатаются под ногами, особенно когда бежишь и представляешь, что по краям их — бездна, а тебе нужно пробраться вперёд, потому что там начинается самое интересное: деревья, калитка, дорога, ящерицы и саранча — жизнь во всех её проявлениях, и я — неотъемлемая часть её.

Помню: за калиткой — дорога и соседи, к которым мы ходили.

Помню смутно, будто во сне, будто и не было этого всего никогда. Но было. Сердце шепчет. Подсказывает. Я ему верю.

Помню ежа, которого мы спасли из-под сетки. Он лежал, свернувшись колючим клубком, пыхтел, угрожал. Мама вынесла ему молока на блюдце, старалась, почти бежала, чтобы успеть напоить бедолагу, чтобы не расплескать. А он, неблагодарный, высунул мордочку, обнюхал инородное тело — и, даже не притронувшись к лакомству, убежал, перебирая лапками по потемневшей, трухлявой дощатой тропе.

Помню: забиралась тайком от глаз всего мира в кусты, пробиралась взглядом сквозь корневища, искала крошечную жизнь. Воздух звенел, жужжал, стрекотал, наполнялся гулом и красками всего живого: бабочек, стрекоз, мух, божьих коровок, пчёл, долгоносиков, что торопились по своим делам — управиться вовремя, накормить, выносить, родить, оплодотворить, испить все нектары жизни до дна и уйти.

Помню: ловко хватала за хвостики стрекоз с веток крыжовника — всего в шипах, будто в саблях. Любовалась ими: как через сетку прозрачных радужных крыльев пробивалось жгучее солнце, как дрожали они от малейшего дуновения ветра, как в сотнях зеркал их глаз преломлялась моя беспечная улыбка.

Помню, как отец научил меня охотиться на ящериц: накрывать их ладонью бережно и постепенно выпрастывать узкую, прогретую на солнце головку с глазками-бусинками по бокам. Видеть, как у шеек их бьётся маленькая жизнь — боязливая, жаждущая свободы, застывшая, словно всё зависело от моих дум. И я отпускала. Ящерицы, чуть отдышавшись, скользили по бурой земле, убегали от страха, от смерти — к жизни.

Помню: выбежишь за калитку — а там сухая полынь, аромат её плывёт до самого неба. С ликующим воплем кидаюсь в самую гущу свежей зелёной травы у заборов, в лохматые, пожухлые колоски, что колют и щекочат икры. Мчишься вдоль заборов: ветер в ушах, солнце слепит глаза, а из-под ног — целая армия длинноногих, изумрудных кузнечиков подпрыгивает до колен, цепляется лапками за шорты, шевелит усами. Серая саранча расправляет крылья и, будто пёстрый батальон бомбардировщиков — красных, жёлтых, голубых — летит прочь из-под стоп.

Я — за ними в прыжке, я с ними лечу. Я — часть этой природы, потому что хочу.

Помню огромный борщевик с широкими листьями и гигантскими стеблями. Я к верхушкам белых соцветий-зонтиков удивлённо задираю голову. Он пробился сквозь чернозём, задушил остальное и вымахал выше всех нас на несколько голов — навстречу влаге и солнцу. В этом заключена вся тайна природы: в её жажде благоденствовать — быть.

И я бегу, не боясь поскользнуться или упасть: я уже далеко отсюда — в самой гуще высокой травы, где всё шуршит, движется, живёт; прячусь среди стеблей, будто в зелёном лабиринте, и чувствую, как за мной следит кто-то быстрый, лёгкий, невидимый — ветер, что играет со мной в догонялки. Я смеюсь, мчусь, распластав руки, задевая ладонями упругие, жирные стебли сорняка.

Помню голос отца — густой, металлический, приятный, родной. Он высечен в моей памяти навсегда.

«*Кристия!*» — зовёт он меня.

И я бегу назад. Обнимаю. Люблю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.